«Ввìèðïðèø¸ë...»

Ê 70-ëåòèb ñî äí ÿ ðî æäåí èÿ Àëåêñàí äðà Ãóñåâà

Мне показалось вновь, что жизнь уже иная Взамен меня шумит, меня на свете нет: Я – словно бы вода, что берега меняя, Себя не помнит, свой не замечая след.

То назовут ручьём, то морем, то протокой, Рекой иль родником, сбегающим к реке... Я оглянулся: там, за тёмною осокой, Два мальчика, смеясь, играли на песке.

И так был счастлив бег их, так прекрасны всюду И луг, и пастбище, и свежее жнивьё, Что вновь поверил я в возможность жить, и чуду Явления земли над водами её.

Струись, вода, струись: ударь у той скалистой Излучины, чтоб свет мой, на исходе сил, Обрёл себя опять и бросил отсвет чистый На всё, что создал Бог и в образ заключил,

Чтоб в миллиардах брызг и в блеске влажной пыли Я жил бессчётно здесь, а на исходе дня Два мальчика вдали ко мне, ликуя, плыли, Не зная обо мне, приветствуя меня.

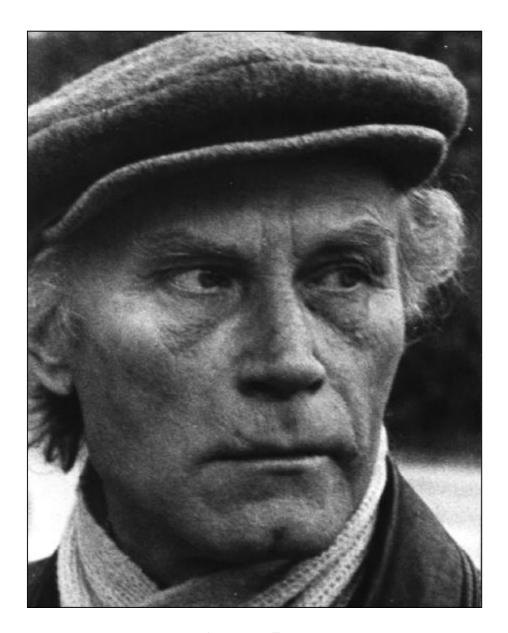
Александр Γ усев 1

ЖИЗНЬ Александра Ивановича Гусева (1939 – 2001) <...> перед нами: <...> в мягкой обложке цвета свежего сена два томика средней толщины. Эта жизнь содержит большое количество (сотни) сложно связанных между собой стихотворений, состоит из них. Стихи сонаправлены друг другу, подобно трубам органа <...> устремлены ввысь. Все вместе - в долго и глубоко продуманной, выверенной, прожитой симфонии своей - стихотворения создают объёмный, сложный, мудрый и высветленный страданием Голос, который после зрительного прикосновения к гусевским текстам (чтения их) ещё какое-то время отзывается в ушах, дрожит на области сердца.

Стихи Гусева густые, насыщенные, переполненные слоистым мерцающим смыслом. Их трудно читать, не легко воспринять. Для этого необходимо осознанное <...> усилие. Стихи <...> преисполнены жгучего одинокого страдания, переживания собственной смерти – и примирения, просветления, благодарности (несмотря ни на что!).

Человек больной и одинокий, в ранней молодости искалеченный на военной службе, А.И. Гусев, по внешним признакам буднично и не бурно, прожил (в основном, в городе Пскове) свою крестную судьбу. Известно, что страдание (в том смысле термина, какой придавал

Селиверстов Юлий Александрович - зав. художественным отделом Псковского музея-заповедника



Александр Гусев



Иван Андреевич Гусев (Андреев) отец поэта. 1950-е



Акулина Фёдоровна Гусева (мать поэта с сыном). 1951



Николай Иванович Гусев (брат поэта) нач. 1940-х



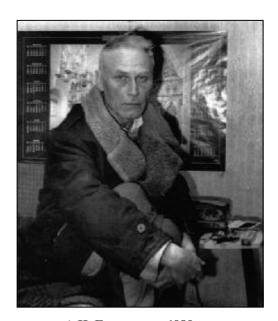
Анна, Таисия и Матрёна Андреевна (сёстры и тётя поэта). 1960-е



Александр Иванович Гусев. 1959 г.



На поэтическом вечере (слева направо А.И. Гусев, М.И. Кузьмина, Е.Н. Морозкина). 1980 г.



А.И. Гусев дома. 1989 г.



В музейном дворе (слева направо А.И. Гусев, Е.С. Тур, Л.А. Творогов, Л.А. Дмитриев, Д.С. Лихачев). 1975 г.

ему Ф. М. Достоевский) необыкновенно способствует духовному возрастанию. Стимулирует оно, следовательно, и лирическое самовыражение. Дело здесь не в стремлении пожаловаться – хотя бы листу бумаги. Непобедима потребность не столько осмыслить (это до конца невозможно), сколь ощутить – по-новому: ярко и сверх обыденности – свою «экзистенцию»: личность и конкретную, конечную жизнь.

Вообще, предмет поэта – всегда он сам. Всё поэтическое творчество, в конечном счёте, является лирикой – и если существует великий эпос (будь то эпос Гомера или, скажем, Твардовского), то лишь в силу и меру отождествления собственной личности и души автора с этносом, Родиной и их судьбой. Такое взаимное единение с Отечеством по плечу лишь самым могучим лирическим поэтам.

Это (по определению, изначально свойственное поэзии) тождество микрокосма космосу и их отражение друг в друге мы встречаем и у А. И. Гусева. Важно понять, что он – в высокой и ясной степени православный автор. Его вера и родовая конфессиональная принадлежность выражаются отчётливо и «на каждом шагу». Но это происходит, преимущественно, не через внешний храмовый антураж (не в многочисленно поминаемых «свечах», «паникадилах», «жертвах» и «грехах», как это бывает у иных поверхностных авторов), а в самом духе поэтического текста, в воздухе и строе мысли – в основах менталитета. К числу этих основ, в первую очередь, принадлежит уже упомянутое нами благодарное приятие собственной судьбы. (Следует помнить, что судьбу свою, какая бы ни была, сознающий себя поэт всегда понимает как возложенную свыше национально значимую миссию.)

В. Я. Курбатов в одном из своих критических отзывов на творчество А. И. Гусева³ характеризовал его как слишком «библиотечного» (понимай: культурного, несущего в себе большую традицию?) автора. Это глубоко верно. Вопрос только, является ли такое качество безусловным недостатком (либо, скорее, заслугой и неким достоинством).

Конечно, «талант – единственная новость, которая всегда нова». Культуре (литературе) не нужны перепевы пройденного. А в наше время умелый версификатор вполне может написать что-либо, по внешним признакам похожее на текст Державина, Тютчева, Блока (и т. д.: Маяковского, Цветаевой, Бродского – до бесконечности). Но, думается, всё это – не про А. И. Гусева. Его главная интонация (в своём неисповедимом мученическом трагизме и примирённости, непротивлении) вполне своеобычна, индивидуальна. Классическая же форма строф, построенных в столбик <...> – это не пережиток, а форма самой Поэзии. (Мы слишком хорошо знаем, что в искусстве форма и содержание – одно.)

Выпускник Литературного института, учившийся вместе с Н. Рубцовым, А. И. Гусев безмерно литературен. Не знаю, до какой степени возможно преподать в учебном заведении поэзию, но объективным (общим всем авторам русских стихов) методом работы А. И. владел. Об этом свидетельствует даже беглое знакомство с гусевскими черновиками: с машинописью, подвергшейся ручной правке. Такое прикосновение к ещё пластичному, не нашедшему своей формы, слову – самое интересное в литературоведении, в общении с автором.

Ведь как работает, как пишет поэт? Вряд ли он сочиняет, придумывает «из головы» хоть что-либо. <...> Стихи же (воплощающие начало Поэзии) уже пребывают, по-видимому, в какой-то, сущей над временем, абсолютной <...> области смысла. <...> Ал. Блок сравнивал поэта с улавливающим земные колебания сейсмографом и даже с отдельно взятой стрелкой этого аппарата.

Поэт выслушивает из тёмной глубины поначалу лишь ритмическую и звуковую основу воплощаемого стихотворения; бросаясь к перу (авторучке, компьютеру) он никогда не знает заранее, что именно напишет и «о чём». Смысл приходит потом, в последнюю очередь. Иногда он и вовсе «не догоняет» поэта – и вот стихотворение, выразительное и стройное есть, а смысла (логической связи понятий) в нём нет. Так уходили в «заумь» авангардисты 1-й половины XX века. Очень близок к таким взаимоотношениям с наружным смыслом (часто «обгоняет» его) О. Э. Мандельштам. Но есть разница между недослышанным из надмирной области, не прояснённым до конца стихотворением и мёртвой конструкцией, которую состряпал глухой.

Смысл, приходящий в итоге, не может быть началом, отправной точкой и целью работы. Поэзия – таинственнейшее из искусств: самое стихийное, наиболее не зависящее от человека. Ведь, к примеру, живописец (если только он не «конченый» абстракционист), приступая к работе, по крайней мере, знает, что именно он будет писать. В меньшей степени этим предзнанием своего предмета, объекта, обладает автор художественной прозы. Поэту же, повторяем, такая осведомлённость противопоказана.

А. И. Гусев нередко грешит таким изначальным стремлением выразить содержание, сказать «о чём-то» конкретном. <...> Его поэзия часто спрятана, словно под жёсткой корой. Но поэзия в стихах Гусева прорывается здесь и там сквозь прокрустову схему - даже в тех его произведениях, которые, с моей точки зрения, не удались (т. е. не были возведены к искомой абсолютной форме).

Удобнее (и увлекательнее всего!) наблюдать эту скрытую борьбу поэзии за жизнь и её прорыв (либо не прорыв) сквозь рациональный план, часто вопреки самому автору, мы можем именно через отбор того или иного варианта в черновых листах, через конкуренцию множества путей данного стихотворения. В стихах каждый слог есть «точка бифуркации», момент свободного выбора. Поэзия — всегда воплощённая Свобода. И даже если в итоге своего произвольного авторского отбора тот или иной поэт отказался от единственного варианта данного стиха, в котором звенела струна Музы, мы можем видеть этот вариант удержанным в черновике. Слышать, но почему-либо отвергнуть — это уже очень дорогого стоит! В черновиках А. И. Гусева много таких, погашенных самоограничением художника прорывов в подспудную поэтическую стихию.

<...>

Доля художника трудна и опасна. Он («очевидец незримого») обязан каким-то образом смирить своё чувство и мысль, внести в них меру и пропорцию. Без этого нет гармонии, нет произведения искусства – и «несказанное» останется не выраженным. Самоограничение – работа художника. Самое в ней трудное – не ошибиться: приглушить и убавить второстепенное, усилить и выделить тем основное. Художникам слова часто мешает умение писать. Поэту (как спортсмену, занимающемуся сёрфингом) надлежит в большей степени отдаваться волне: не пытаться, подобно скульптору, обтесать и обузить эту живую, протекающую сквозь себя, часть неведомого океана.

Разумеется, высокое традиционное мастерство А. И. Гусева не только мешает, но, как и должно быть, очень часто помогает авторской работе по воплощению текста. Например, характерным (фирменным) признаком его манеры является ритмический перебой в буквенном сердце напечатанного стиха. Обратимся вновь к стихотворению-эпиграфу: «И так был счастлив бег их, так прекрасны всюду...» — на слове «их», на запятой, неудобно следующей за ним, мы встречаем некую запинку, замедление. Взгляд цепляется за строку — и внимание читателя концентрируется. Стремясь к гладкописи и лёгкости восприятия, автор написал бы: «их так был счастлив бег и так прекрасны всюду». Такой стих более энергичен, стремителен — он пролетает сквозь сознание, как поезд на прямой дороге, пульсируя равномерными ударами, маня вдаль. Поэты внимательны ко всякой букве — и, вне сомнения, А. И. Гусев написал осознанно этот стих именно так, как он издан.

Читаем далее: «...Излучины, чтоб свет мой, на исходе сил...» - Здесь тот же приём ритмического замедления (направленный на удержание неформального внимания читателей) выражен даже не в порядке слов, а только через как бы не там проставленную запятую. Она в исполнении А. И. Гусева нашла своё место после слова «мой». Поставь автор эту запятую после «свет» - получилось бы: «...Излучины, чтоб свет, мой на исходе сил...». Это было бы, опять же, стремительней и даже более таинственно: выходило бы, что этот «свет» - не имманентное свойство лирического героя, а обретается им лишь «на исходе сил». Так смысловая ткань стихотворения, расслоившись, могла стать объёмней, богаче – но это не удерживало бы, не привлекало эмоционального внимания читателя. Более лёгкий стих не передал бы в необ-

ходимой степени единственность и трудность смерти и воскресения (о которых, собственно, в стихотворении речь).

Вообще, форма приведённого стихотворения объективна и близка к совершенству.

Мировая и русская поэзия многообразна. Стихотворение (вполне завершённое, отточенное) вполне может представлять собою как бы открытый ряд содержательных и эмоциональных «ударов» – волн, которые, нахлёстывая на читательское восприятие «через запятую», продолжают и усиливают друг друга. Такие стихи особенно долго по прочтении звучат в памяти не прерываясь, куда-то влекут и призывают «дописывать» себя – пока не затихнут.

Но спустя долгое время по закрытии книги самопроизвольно восстают в памяти чаще иные стихи — те, что, развивая форму рондо, «закольцованы», замкнуты на себя, как таинственный хоровод. Они построены на безмерно сложном взаимном отражении центров восприятия (героев), чувств и понятий. Одним из наиболее известных хрестоматийных примеров такого, вращающегося в себе стихотворения остаётся «Сон» М. Ю. Лермонтова («В полдневный жар в долине Дагестана...»).

Гусевское стихотворение-эпиграф – тоже рондо: финальная строфа «возвращается» к первому восьмистишию, являющемуся зачином. Собственно, оно – тоже сон. Вообще, погружение поэта в пространство его творчества есть некое «шаманское путешествие»: белкою по мировому древу – вниз, вверх... Миры, открывающиеся на этом пути, отличаются, в первую очередь, иной мерностью (объёмностью) времени. Прошлое, настоящее и будущее пребывают там, соседствуя и друг друга не отменяя – как в раю. Слышателям настоящих стихов (поэтам) обязательно открывается эта перспектива Бога – и, следовательно, к поэтическому тексту в принципе неприменимы тривиальные требования грамматического «классицизма», предписывающие соблюдать единство времени и действия.

Незыблемая вера, понятая как единственное прибежище, интимная и вместе с этим громко проповедуемая, сочетается у А. И. Гусева с равной по силе любовью к Родине, своему народу и отчему краю. Псковская природа, подчас конкретные топонимы, изнутри прожитые и данные элементы крестьянского труда и сельскохозяйственного календарного (как и богослужебного) круга – всем этим проникнуты, словно почва корнями большого дерева, стихи и мировидение Гусева. Это сообщает ему (в потенции, в начале) черты национального поэта, могшего при благоприятных условиях «прозвучать», стать большим. Однако рассматриваемому автору (как всем нам), в каком-то смысле, не повезло со Временем.

<...>

В гнусном торгашеском мире, который, подобно адским вратам, всё непролазней обстраивается вокруг нас, у стихов тихого поэта-философа заведомо нет шансов: они не продажны и непродаваемы. Это – безнадежный (как говорят *они*) «неформат»: ни к вымершему селу, ни к дичающему, задавленному животной борьбой за существование, городу. Только – к Богу: к небу, «которого нет» (как читаем в одном из стихотворений в томике цвета сена).

«Тёмен жребий русского поэта...», тёмен, неслышим и одинок. Мы проходим страшное время подменённых ценностей, вывернутых с корнем устоев тысячелетней культуры, ушей и сердец, запечатанных воском (целлулоидом) сочащейся изо всех щелей пошлости и лжи. «Мы живём, под собою не зная страны, наши речи за десять шагов не слышны...» – как ни страшно, но слова эти, быть может, более про нас, чем про сталинские времена.

Эпоха пост-модерна страшна именно показной всепримирённостью («политкорректностью») - мнимым вниманием к каждому сочетанию слов. Любой набор букв и звуков (сущую абракадабру) «эстетика» пост-модерна согласна причислить к поэзии, к искусству. За этим кроется последнее («экуменическое») безразличие к самому Богу, таящемуся в стихах (в тех, подлинных - одушевлённых метром и мыслью). Всем богам служить нельзя: служить всем значит признать, что нет никого из них. Когда Поэта и не-поэта перечисляют на равных, через запятую — это культурная катастрофа для страны, где такое стало возможным.

Низкий уровень пассионарности (если обратимся к терминологии Л. Н. Гумилёва) плох, в числе прочего, тем, что, хотя внешние формы традиционной культуры ещё каким-то обра-

зом воспроизводят себя, рабочие места на авансцене этой культуры сплошь оказываются заняты имитаторами, мнимыми величинами. Эти виртуальности (активное ничто), опираясь на вал культуры «массовой», вытесняют на обочину бытия всё подлинное и живое. Происходит маргинализация истинного творчества, настоящего патриотизма, самой Мысли.

Но пока страна ещё жива и надежда на Божье чудо, должное её воскресить, не погасла, культуре и самому русскому языку необходимы поэты, пускай в тиши и безвестности, совершающие свой таинственный труд: воплощение через божественный ритм божественного смысла в нашем земном языке.

Известно, что человек как биологическое существо — это не только его личность, не одно лишь «дневное», ясное сознание. В единый феномен человека неотъемлемо включён и подавляюще колоссальный «подводный» пласт бессознательного. Однако личность (наделённая мистической свободой, создаваемая Богом) — вся сознание. Сознание же — это мысль, которая очевидным образом представляет собой не более и не менее, как сочетание слов. Поэзия работает с «наилучшими сочетаниями наилучших слов». Возможность этих сочетаний изначально задана самим существованием языка. Т. о., роль поэзии в антропогенезе, в выведении недосотворённого исторического человека на предуказанную ему Создателем вершину бытия, абсолютно важна.

Я часто спрашиваю себя: «попавший на необитаемый остров, обречённый на вечное абсолютное одиночество, Поэт станет ли писать – на песке, на снегу (бумаги-то нет)? Ответ не вызывает сомнений: пока останется человеком, Поэт будет писать – на песке, на снегу. Ведь стихи не принадлежат земному «автору». Он обязан (не может не) фиксировать диктуемое свыше.

Судьба «современных» (ныне живущих и недавно живших) русских поэтов, в т. ч. А. И. Гусева, именно и представляет собою это «письмо на снегу», говорение (пение) в безвоздушной пустоте.

Поэтов, насущно необходимых народу, не может быть много: они — слишком «штучное» явление. Но несколько поэтов, единовременно живущих на Земле, проходящих своё таинственное поприще, важны для продолжения органичной жизни слова и языка (и, значит, для самой исторической жизни Родины). Об этом — по-разному, но достаточно — писали многие (И. Бунин, А. Блок, В. Набоков, И. Бродский, т. д.).

В особенности важны сегодня для России поэты, подобно А. Гусеву <...> – пишущие «в столбик», «квадратно» зарифмованными строфами. Они – носители классической традиции, сберегающие саму возможность её репродукции в будущее.

Разны внешние (и особенно внутренние) судьбы воплотившихся поэтов. Один, легко и даже как бы весело (и беззаботно) отрываясь от земли, взмывает в самое солнце, подобно какому-нибудь прыгуну с шестом. Другой, только взлетев, ударится лбом о перекладину креста и ляжет на долгий отдых в его подножие: так много сил и собственной крови истратил он на этот свой невысокий «прерванный полёт». Здесь не в достигнутой высоте дело. Важен вектор Воскресения – отрыв от земли.

Но что тебе моих наречий Неверный строй, обманный звук, Когда клубок противоречий Давно я выронил из рук?

Давно я выпустил на волю И сокола, и соловья. А нитка тянется. И долю Свою понять не в силах я:

То хищной птицей обернётся, То запоёт среди листвы... А нитка тянется, не рвётся На острие людской молвы.

Петляет, вяжет... что-то скажет. Чьё имя вслух произнесёт? Какая боль на сердце ляжет, Какая радость обожжёт?

И чьи персты моих оплечий Нечаянно коснутся вдруг? И что тебе моих наречий Неверный строй, обманный звук?

Александр Гусев⁴

Примечания

- 1. Гусев А. И. Если приду. Стихотворения. Псков, 1996, с. 120.
- 2. Гусев А. И. Боль, переплавленная в мудрость. Псков, 2007.
- 3. *Курбатов В. Я.* Свеча во мраке // Литературная Россия № 45 (2177), 05.11.2004.
- 4. Гусев А. И. При свете памяти. Л., 1984., с. 39.